

Владимир Набоков.

Король, дама, валет

I

Огромная, черная стрела часов, застывшая перед своим ежеминутным жестом, сейчас вот дрогнет, и от ее тугого толчка тронется весь мир: медленно отвернется циферблат, полный отчаяния, презрения и скуки; столбы, один за другим, начнут проходить, унося, подобно равнодушным атлантам, вокзальный свод; потянется платформа, увозя в неведомый путь окурки, билетики, пятна солнца, плевки; не вращая вовсе колесами, проплывет железная тачка; книжный лоток, увешанный соблазнительными обложками, – фотографиями жемчужно-голых красавиц, – пройдет тоже; и люди, люди, люди на потянувшейся платформе, переставляя ноги и все же не подвигаясь, шагая вперед и все же пятясь, – как мучительный сон, в котором есть и усилие невероятное, и тошнота, и ватная слабость в икрах, и легкое головокружение, – пройдут, отхлынут, уже замирая, уже почти падая навзничь...

Больше женщин, чем мужчин, – как это всегда бывает среди провожающих... Сестра Франца, такая бледная в этот ранний час, нехорошо пахнущая натошак, в клетчатой пелерине, какой, небось, не носят в столице, – и мать, маленькая, круглая, вся в коричневом, как плотный монашек. Вот запорхали платки.

И отошли не только они, – эти две знакомые улыбки, – тронулся не только вокзал, с лотком, тачкой, белым продавцом слив и сосисок, – тронулся и старый городок в розоватом тумане осеннего утра: каменный курфюрст на площади, землянично-темный собор, поблескивающие вывески, цилиндр, рыба, медное блюдо парикмахера... Теперь уж не остановить. Понесло! Торжественно едут дома, хлопают занавески в открытых окнах родного дома, потрескивают полы, скрипят стены, сестра и мать пьют на быстром сквозняке утренний кофе, мебель вздрагивает от учащающихся толчков, – все скорее, все таинственнее едут дома, собор, площадь, переулки... И хотя уже давно мимо вагонного окна разворачивались поля в золотистых заплатах, Франц еще ощущал, как отъезжает городишко, где он прожил двадцать лет.

В деревянном, еще прохладном отделении третьего класса сидели, кроме Франца: две плюшевых старушки, дебелая женщина с корзиной яиц на коленях и белокурый юноша в коротких желтых штанах, крепкий, угластый, похожий на свой же туго набитый, словно высеченный из желтого камня мешок, который он энергично стряхнул с плеч и бухнул на полку. Место у двери, против Франца, было занято журналом с голой стриженной красавицей на обложке, а в коридоре, у окна, спиной к отделению, стоял широкоплечий господин.

Город уехал. Франц схватился за бок, навывлет раненный мыслью, что пропал бумажник, в котором так много: крепкий билетик, и чужая визитная карточка, и непочатый месяц человеческой жизни. Бумажник был тут как тут, плотный и теплый. Старушки стали шевелиться, шурша разоблачать бутерброды. Господин, стоявший в проходе, повернулся и, слегка качнувшись, отступив на полшага и снова поборов шаткость пола, вошел в отделение.

Только тогда Франц увидел его лицо: нос – крохотный, обтянут по кости белесой кожей, кругленькие, черные ноздри непристойны и асимметричны, на щеках, на лбу – целая география оттенков, – желтоватость, розоватость, лоск. Бог знает, что случилось с этим лицом, – какая болезнь, какой взрыв, какая едкая кислота его обезобразили. Губ почти не было вовсе, отсутствие ресниц придавало выпуклым, водянистым глазам невольную наглость. А наряден и статен был господин на диво: шелковый галстук в нежных узорах нырял, слегка изогнувшись, под двубортный жилет. Руки в серых перчатках подняли, раскрыли журнал с соблазнительной обложкой.

У Франца дрожь прошла между лопаток, и во рту появилось страшное ощущение: неотвязно мерзка влажность нёба, отвратительно жив толстый, пупырчатый язык. Память стала паноптикумом, и он знал, знал, что там, где-то в глубине, -камера ужасов. Однажды собаку вырвало на пороге мясной лавки: однажды ребенок поднял с панели и губами стал надувать нечто, похожее на соску, желтое, прозрачное; однажды простуженный старик в трамвае пальнул мокротой... Все – образы, которых Франц сейчас не вспомнил ясно, но которые всегда толпились на заднем плане, приветствуя истерической судорогой всякое, новое, сродное им впечатление. После таких ужасов, в те еще недавние дни, вялый, долговязый, перезрелый школьник ронял из рук портфель, бросался ничком на кушетку, и его долго, мучительно мутило. Мутило его и на последнем

экзамене,-оттого, что сосед по парте, задумавшись, грыз и без того обгрызанные, мясом ущемленные ногти. И школу Франц покинул с облегчением, полагая, что отделался навсегда от ее грязноватой, прыщеватой жизни.

Господин разглядывал журнал, и сочетание его лица и фотографии на обложке было чудовищно. Румяная торговка сидела рядом с монстром, прикасаясь к нему сонным плечом; рюкзак юноши лежал бок-о-бок с его черным, склизким, пестрым от наклеек, чемоданом, а главное, – старушки, несмотря на мерзкое соседство, жевали бутерброды, посасывали мохнатые дольки апельсинов, завертывали корки в бумажки и деликатно бросали под лавку... Франц стискивал челюсти, сдерживая смутный позыв на рвоту. Когда же господин отложил журнал и стал сам, не снимая перчаток, есть булочку с сыром, вызываясь глядя на Франца, он не стерпел. Быстро встав, запрокинув побелевшее лицо, он расштал, стащил сверху свой чемодан, надел пальто и шляпу и, неловко стукнувшись чемоданом о косяк, вышел в коридор.

Ему сразу стало легче, но головокружение не прошло. Вдоль окон пролетал буквый лес, рябили лиловатые стволы, испещренные солнцем. Он неуверенно пошел по коридору, всматриваясь в отделения. Только в одном из них было свободное место; зато там сидела сердитая женщина с двумя бледными, чернорукими, раздраженными детьми, которые, подняв плечи в ожидании неизбежного подзатыльника, тихонько сползали с лавки, чтобы поиграть сальными бумажками на полу, у ног пассажиров. Франц дошел до конца вагона и там остановился, пораженный небывалой мыслью. Эта мысль была так хороша, так дерзновенна, что даже сердце запнулось, и на лбу выступил пот. «Нет, нельзя...» – вполголоса сказал Франц, уже зная, впрочем, что соблазна не перебороть. Затем, двумя пальцами проверив узел галстука, он с восхитительным замиранием под ложечкой перешел по шаткой соединительной площадке в следующий вагон.

Это был вагон второго класса, а второй класс был для Франца чем-то непозволительно привлекательным, немного греховным, пожалуй, – с привкусом пряного мотовства, – как рюмка густого белого кюрасо, как трехминутная поездка в таксомоторе, как тот огромный помплимус, похожий на желтый череп, который он как-то купил по дороге в школу. О первом классе нельзя было мечтать вовсе: бархатные покои, где сидят дипломаты в дорожных кепках и почти неземные актрисы!.. Но во второй...

во второй... ежели набраться смелости... Покойный отец (нотариус и филателист) ездил, говорят, – давно, до войны, – вторым классом. И все-таки Франц не решался, – замирал в начале прохода, у таблички, сообщавшей вагонный инвентарь, – и уже не решетчатый лес мелькал за окнами, а благородно плыли просторные поля, и вдалеке, параллельно полотну, текла дорога, по которой улепетывал лилипутский автомобиль.

Его вывел из затруднения кондуктор, как раз совершавший обход. Франц прикупил своему билету дополнительный чин. Гулким мраком бабахнул короткий туннель. Опять светло, и уже нет кондуктора.

В купе, куда Франц вошел с безмолвным, низким поклоном, сидели только двое: чудесная, большеглазая дама и пожилой господин с подстриженными желтыми усами. Франц снял пальто и осторожно сел. Сиденье было так мягко, так уютно торчал у виска полукруглый выступ, отделяющий одно место от другого, так изящны были снимки на стенке: какой-то собор, какой-то водопад... Он медленно вытянул ноги, медленно вынул из кармана газету; но читать не мог: оцепенел в блаженстве, держа раскрытую газету перед собой. Его спутники были обаятельны. Дама – в черном костюме, в черной шапочке с маленькой бриллиантовой ласточкой, лицо серьезное, холодноватые глаза, легкая тень над губой и бархатно-белая шея в нежнейших поперечных бороздках на горле. Господин, верно, иностранец, оттого что воротничок мягкий, и вообще... Однако Франц ошибся.

– Пить хочется, – протяжно сказал господин. – жалко, что нет фруктов...

– Сам виноват, – ответила дама недовольным голосом, и, погодя, добавила:

– Я все еще не могу забыть. Это было так глупо... Драйер слегка закатил глаза и не возразил ничего. – Сам виноват, что пришлось прятаться... – сказала она и машинально поправила юбку, машинально заметив, что пассажир, появившийся в углу, – молодой человек в очках, – смотрит на голый шелк ее ног. Потом пожала плечом.

– Все равно... – сказала она тихо, – не стоит говорить. Драйер знал, что молчанием он жену раздражает неизъяснимо. В глазах у него стоял мальчишеский, озорной огонек, мягкие складки у губ двигались, – оттого, что он перекачивал во рту мятную лепешку, – одна бровь, желтая,

шелковистая, была поднята выше другой. История, которая так рассердила жену, была, в сущности говоря, пустая. Август и половину сентября они провели в Тироле, и вот теперь, на обратном пути, остановившись на несколько дней по делу в антикварном городке, он зашел к кухне Лине, с которой был дружен в молодости, лет двадцать тому назад. Жена отказалась пойти наотрез. Ли-на, кругленькая дама с бородавкой, как репейник, на щеке, все такая же болтливая и гостеприимная, нашла, что «годы, конечно, наложили свой след», но что могло быть и хуже, угостила его отличным кофе, рассказала о своих детях, пожалела, что их нет дома, расспросила его о жене, которой она не знала, о делах, про которые знала понаслышке; потом стала советоваться. В комнате было жарко, вокруг старенькой люстры с серыми, как грязный ледок, стекляшками кружились мухи, садясь все на то же место, что почему-то очень его сместило, и с комическим радушием протягивали свои плюшевые руки старые кресла, на одном из которых дремала злая обветшалая собачка. И на выжидательный, вопросительный вздох собеседницы он вдруг сказал, рассмеявшись, оживившись: «Ну что ж, пускай он поедет ко мне, – я его устрою...» Вот это жена и не могла простить. Она назвала это: «Наводнять дело бедными родственниками» – но, в сущности говоря, какое же наводнение мог произвести один, всего один бедный родственник? Зная, что Лина жену пригласит, а жена не пойдет ни за что, – он солгал, сказал Лине, что уезжает в тот же вечер. А потом, через неделю, на вокзале, когда они уже уселись в вагон, он вдруг из окна увидел Лину, Бог весть чем привлеченную на платформу. И жена ни за что не хотела, чтобы та заметила их, и, хотя ему очень понравилась мысль купить на дорогу корзиночку слив, он не высунулся из окна с легким «пест...», не потянулся к молодому продавцу в белой куртке...

Удобно одетый, совершенно здоровый, с туманом легких мыслей в голове, с мятным ветерком во рту, Драйер сидел, скрестив руки, и складки мягкой материи на сгибах как-то соответствовали мягким складкам его щек, и очерку подстриженных усов, и вееркам морщинок у глаз. И глядел он, слегка надув шею, слегка исподлобья, с чертиками в глазах, на зеленый вид, жестикулирующий в окне, на прекрасный профиль Марты, обведенный смешной солнечной каемкой, на дешевый чемодан молодого человека в очках, который читал газету в углу, у двери. Этого пассажира он обошел, пощупал, пощекотал долгим, но легким, ни к чему не обязывающим взглядом, отметил зеленый крап его галстучка, стоившего, разумеется, девяносто пять пфеннигов, высокий воротничок, а также

манжеты и передок рубашки, – рубашки, существующей впрочем только в идее, так как, судя по особому предательскому лоску, то были крахмальные доспехи довольно низкого качества, но весьма ценимые экономным провинциалом, который нацепляет их на суровую сорочку, сшитую дома. Над костюмом молодого человека Драйер нежно загрустил, подумав о том, что покрой пиджаков трогателен своей недолговечностью и что этот синий в частую белую полоску костюм уже пять сезонов как исчез из столичных магазинов.

В стеклах очков внезапно родились два встревоженных глаза, и Драйер отвернулся, поглатывая слюну с легким чмоканием. Марта сказала: – Вообще происходит какая-то путаница. Муж вздохнул и ничего не ответил. Она хотела добавить что-то, но почувствовала, что молодой человек в очках прислушался, – и, вместо слов, резким движением облокотилась на столик, оттянув кулаком щеку. Посидев так до тех пор, пока мелькание леса в окне не стало тягостным, она, с досадой, со скукой, медленно разогнулась, откинулась, прикрыла глаза. Сквозь веки солнце проникало сплошной мутноватой алостью, по которой вдруг побежали чередой светлые полосы – призрачный негатив движущегося леса, – и каким-то образом вмешалось в эту красноту, в это мелькание, медленно и близко поворачивающееся к ней, невыносимо веселое лицо мужа, и она, вздрогнув, открыла глаза. Но муж сидел сравнительно далеко и читал книжку в кожаном переплете. Читал он внимательно, с удовольствием. Вне солнцем освещенной страницы не существовало сейчас ничего. Он перевернул страницу, и весь мир, жадно, как игривая собака, ожидавший это мгновение, метнулся к нему светлым прыжком, – но ласково отбросив его, Драйер опять замкнулся в книгу.

То же резвое сияние было для Марты просто вагонной духотой. В вагоне должно быть душно; это так принято, и потому хорошо. Жизнь должна идти по плану, прямо и строго, без всяких оригинальных поворотиков. Изящная книга хороша на столе в гостиной или на полке. В вагоне, для отвода скуки, можно читать какой-нибудь ерундовый журналичко. Но эдак вкушать и впивать... переводную новеллу, что ли, в дорогом переплете. – Человек, который называет себя коммерсантом, не должен, не может, не смеет так поступать. Впрочем возможно, что он делает это нарочно, назло. Еще одна показная причуда. Ну что ж, чуди, чуди. Хорошо бы сейчас вырвать у него эту книжку и запереть ее в чемодан...

В это мгновение солнечный свет как бы обнажил ее лицо, окатил гладкие

щеки, придал искусственную теплоту ее неподвижным глазам, с их большими, словно упругими, зрачками в сизом сиянии, с их прелестными темными веками, чуть в складочку, редко мигавшими, как будто она все боялась потерять из виду непременною цель. Она почти не была накрашена; только в тончайших морщинках теплых, крупных губ сохла оранжевато-красная пыльца.

И Франц, до сих пор таившийся за газетой в каком-то блаженном и беспокойном небытии, живший как бы вне себя, в случайных движениях и случайных словах его спутников, медленно стал расти, сгущаться, утверждаться, вылез из-за своей газеты и во все глаза, почти дерзко, посмотрел на даму.

А ведь только что его мысли, всегда склонные к бредовым сочетаниям, сомкнулись в один из тех мнимо стройных образов, которые значительны только в самом сне, но бессмысленны при воспоминании о нем. Переход из третьего класса, где тихо торжествовало чудовище, сюда, в солнечное купе, представился ему, как переход из мерзостного ада, через пургаторий площадок и коридоров, в подлинный рай. Старичок кондуктор, давеча пробивший ему билет, и сразу исчезнувший, был, казалось ему, убог и полновластен, как апостол Петр. Какая-то лубочно-благочестивая картина, испугавшая его в детстве, опять странно ожила. Он обратил кондукторский щелк в звук ключа, отпирающего райский замок. Так, в мистерии, по длинной сцене, разделенной на три части, восковой актер переходит из пасти дьявола в ликующий парадиз. И Франц, отталкивая навязчивую и чем-то жутковатую грезу, стал жадно подыскивать приметы человеческие, обиходные, чтобы прервать наваждение.

Сама Марта ему помогла: глядя искоса в окно, она зевнула, дрогнув напряженным языком в красной полутьме рта и блеснув зубами. Потом замигала, разгоняя ударами ресниц щекочущую слезу. И Франца потянуло тоже к зевоте. В ту минуту, как он, не справившись с силой, распиравшей нёбо, судорожно открыл рот. Марта на него взглянула и поняла по его зевоте, что он только что на нее смотрел. И сразу рассеялось болезненное блаженство, которое Франц недавно ощущал, глядя на мадоннообразный профиль. Он насупился под ее равнодушным лучом, и когда она отвернулась, мысленно сообразил, будто протрещал пальцем по тайным счетам, сколько дней своей жизни он отдал бы, чтобы обладать этой женщиной.

Резко хряснула дверь, и взволнованный лакей, точно предупреждая о пожаре, сунулся, рывкнул и метнулся дальше – выкрикивать свою весть.

Втайне Марта была против этих жульнических, летучих обедов, за которые дерут втридорога, хотя дают дрянь, и это почти физическое ощущение лишней траты, смешанное с чувством, что кто-то надувает и, надувая, наживает, было так в ней сильно, что если б не тошный голод, она бы вовсе в столовый вагон не пошла. Сердито и смутно она позавидовала юнцу в очках, который при напоминании об обеде полез в карман пальто, висевшего рядом, и вытащил бутерброд. Сама же встала, взяла сумку под мышку. Драйер нашел фиолетовую ленточку в книге, заложил страницу и, выждав секунды две, как будто не мог сразу перейти из одного мира в другой, легонько хлопнул себя по коленям и выпрямился. Он тотчас заполнил все купе: был он один из тех людей, которые, несмотря на средний рост и умеренную плотность, производят впечатление громоздкости. Франц поджал ноги. Марта и за нею муж двинулись мимо него, вышли.

Франц остался с серым бутербродом в опустевшем купе. Он жевал и глядел в окно. Поднимался по диагонали окна зеленый откос, заполнил окно доверху, затем, разрешив железный аккорд, грохотнул сверху мост, и мгновенно зеленый скат пропал, распахнулся свободный вид, луга, ивы вдоль ручья, лиловатые гряды капусты. Франц проглотил последний кусок, поерзал, прикрыл глаза.

Столица... В самом названии этой незнакомой еще столицы – в увесистом грохоте первого слога и в легком звоне второго – было для него что-то волнующее. Экспресс уже как будто мчал его по знаменитому проспекту, обсаженному исполинскими древними липами, под которыми кипела цветистая толпа. Промчал экспресс мимо этих лип, пышно выросших из названия проспекта, и влетел под огромную арку в перламутровых блестках. Дальше был увлекательный туман, где поворачивалась фотографическая открытка, – сквозная башня в расплывчатых огнях, на черном фоне. Она исчезла, и в сияющем магазине, среди золоченых болванок, изображавших торсы, и чистых, зеркал, и стеклянных прилавков, Франц разгуливал в визитке, в полосатых штанах, в белых гетрах и плавным движением руки направлял покупателей в нужные им отделы. Это уже была не совсем сознательная игра мысли, но еще не сон; и в тот миг, когда сон собрался его подкосить, Франц опять овладел собой, направил

мысли по собственному усмотрению, оголил плечи даме, только что сидевшей у окна, прикинул, – взволнован ли он? – затем, сохранив голые плечи, переменял голову, подставил лицо той семнадцатилетней горничной, которая испарилась с серебряной суповой ложкой до того, как он успел ей объясниться в любви; но и эту голову он затушевывал и вместо нее приделал лицо одной из тех лихих столичных красавиц, которые встречаются главным образом на ликерных и папиросных рекламах; и только тогда образ ожил: гологрудая дама подняла к пунцовым губам рюмку, покачивая ажурной ногой, с которой спадала красная туфелька без задника. Туфелька свалилась, и Франц, нагнувшись за ней, пошатнулся, мягко нырнул в темную дремоту. Он спал с разинутым ртом, так что были на его бледном лице три дырки: две блестящих, – стекла очков, и одна черная – рот. Драйер это отметил, когда, час спустя, вернулся с женой из вагона-ресторана. Они молча переступили через протянутую мертвую ногу. Марта положила сумку на откидной столик под окном, и никелевый глазок сумки сразу ожил, мелко заиграл зеленым блеском. Драйер закурил сигару.

Обед оказался недурным, и Марта теперь не жалела, что пошла. Цвет лица у нее как-то потеплел, прекрасные глаза были влажны, блестели свежо подмазанные губы; она улыбнулась, чуть обнажив резцы, и эта довольная, драгоценная улыбка медлила на ее лице несколько мгновений. Драйер глядел на жену, слегка прищурясь, наслаждаясь ее улыбкой, как неожиданным подарком, – но ни за что в мире он не показал бы этого. Когда улыбка исчезла, он отвернулся, подобно удовлетворенному зеваке, после того, как уличный торговец поднял и снова положил на возок нечаянно рассыпавшиеся апельсины.

Франц вдруг подтянул ногу, но не проснулся. Поезд стал грубо тормозить. Проплыли красноватые стены, огромная труба, словно выложенная мозаикой, товарные вагоны, стоявшие на запасном пути; и затем в отделении потемнело; вокзал.

– А я, моя душа, пойду прогуляться, – сказал Драйер, любивший курить на свежем воздухе.

Марта, оставшись одна, откинулась в угол, посмотрела, зевнув, на мертвеца в очках, равнодушно подумала, что он сейчас съедет на пол. Драйер, гуляя по платформе, мимоходом поиграл пальцами по оконному стеклу, но жена больше не улыбнулась, – и, пыхнув дымом, он двинулся дальше. Шел он

неторопливой, чуть подпрыгивающей походкой, заложив руки за спину и выпятив сигару. Между прочим он подумал о том, что хорошо бы так прогуливаться под сводами незнакомого вокзала где-нибудь по пути в Андалузию, Багдад, Нижний Новгород... Можно хоть сегодня пуститься в путь: земной шар огромен и кругл, – и денег достаточно на пять, а то и больше, полных обхватов. Марта бы, впрочем, ни за что не поехала. Никак даже не скажешь ей: поедem, дела подождут. Купить, что ли, газету; биржа, пожалуй, тоже любопытная вещь, И надо узнать, перелетел ли этот молодчик через океан? Америка, Мексике, Пальмовый Пляж. Вот Вилли Грюн там побывал, звал с собой. Нет, ее не уломать... Где же, в сущности говоря, газетный лоток... Этот велосипед с завернутыми лапками сейчас так отчетлив, а забуду его навсегда, забуду, что смотрел на него, все забуду... И вот, багажный вагон тронулся, поплыл. Э! да это мой поезд... А все-таки надо купить...

Драйер мелкой рысью кинулся к лотку, выбрал на ладони монету, кинулся обратно, засовывая газету в карман. Он не очень ловко вскочил на проплывавшую подножку и не сразу мог отворить дверь. Посмеиваясь и глубоко дыша, он прошел один вагон, второй, третий. В предпоследнем коридоре учтиво отодвинулся, чтобы пропустить его, длинный господин. Драйер, мимоходом, глянув на него, увидел лицо взрослого человека с носиком грудного младенца. «Занятно, – подумал Драйер, – очень занятно». В следующем вагоне он отыскал свое купе, опять переступил через мертвую ногу и тихонько сел. Марта, по-видимому, спала. Он развернул газету и вдруг заметил, что Марта глядит на него в упор.

– Сумасшедший идиот, – сказала она спокойно и тотчас прикрыла глаза снова. Драйер дружелюбно ей покивал и окунулся в газету.

Первая часть дороги, – первая глава путешествия – всегда подробна и медлительна. Средние часы – дремотны, последние – скоры. И вот, Франц проснулся, пожевал губами. Его спутники спали. Свет в окне поблек, точно где-то потушили одну, две лампочки. Он посмотрел на кисть, на часики под решеткой. Он спал очень долго. Отяжелели ноги, и во рту был препротивный вкус. Тщательно вытерев стекла очков, он выбрался в коридор.

И с этих пор время пошло быстро. Час спустя ожила и чета Драйер, лакей принес им кофе в толстых чашках, кофе было скверное. Где-то потухли еще

две-три лампочки. Потом, в сумерках, по окну стал тихонько потрескивать дождь, катились по стеклу струйки, останавливались неуверенно и снова быстро сбегали вниз. За окнами коридора под аспидной тучей тлел узкий, желтый закат. И еще немного спустя электрический свет озарил отделение, и Марта долго смотрелась в зеркальце, скаля зубы, подтягивая верхнюю губу.

Драйер, весь еще полный приятного тепла дремоты, посмотрел на потускневшее окно, на струйки, угловато сбегавшие по стеклу, подумал, что завтра воскресенье, что утром он поедет играть в теннис (за который недавно принялся с жарким рвением пожилого человека), и что нехорошо, если помешает дождь. Он спросил себя, сделал ли он успехи, бессознательно напряг правое плечо и тотчас вспомнил холеную, солнцем облитую площадку в тирольском городке и знаменитого, баснословного игрока, который пришел на состязание в белом пальто с полдюжиной ракет под мышкой, а затем медленно, с профессиональной плавностью снял и пальто, и шелковый шарф и цветастый свитер, – и сверкнув по локоть обнаженной рукой, поддал звучно и с какой-то нечеловеческой точностью первый, пробный мяч.

– Осень, дождь, – сказала Марта, резко захлопнув сумку.

– Совсем маленький, – тихо поправил Драйер, Поезд, как бы уже попав в поле притяжения столицы, шел необыкновенно быстро. Стекла совсем потемнели, в них незаметно появились отражения, отблески. Мелькнула мимо огненная полоса встречного поезда и навеки оборвалась. Франц, вернувшись в купе, вдруг судорожно схватился за бок. И еще через час в смутном мраке появились далекие россыпи огней, бриллиантовые пожары.

Вскоре Драйер встал; Франц, с холодком волнения в груди, встал тоже. Драйер стал стаскивать чемоданы (он очень любил совать их носильщику в окно); Франц, поднявшись на цыпочки, стал стаскивать свой чемодан тоже. Оба мягко столкнулись спинами, и Драйер рассмеялся. Волнуясь и торопясь, Франц стал надевать пальто, не мог сразу попасть в рукав, нахлобучил зеленую свою шляпу и вышел в коридор.

Огней в темноте прибавилось, и вдруг, словно под самыми ногами, открылась улица с освещенным трамваем и пропала опять за мелькавшими стенами, которые кто-то быстро тасовал.

– Поскорей бы! – взмолился Франц, – это невыносимо...

Промахнула мелкая станция, платформа под черным навесом, и снова стало темно, точно никакой столицы и близко не было. Наконец разлился желтоватый свет, озарил тысячу рельс, ряды мокрых спящих вагонов, – и медленно, уверенно, плавно огромная железная полость вокзала втянула в себя сразу отяжелевший поезд.

Франц вылез на платформу, в дымную сырость. Проходя мимо покинутого вагона, он увидел своего светлоусого спутника, который, опустив стекло, звал носильщика. На мгновение он пожалел, что расстается навсегда с той прелестной, большеглазой дамой. Вместе с торопливой толпой он быстро пошел по длинной, длинной платформе, дрожащей рукой отдал контролеру билет и, мимо бесчисленных касс, реклам, расписаний, низких прилавков для багажа, вышел на волю.

II

Смутный золотистый свет, воздушная отельная перина... Опять – пробуждение, но, быть может, пробуждение еще не окончательное? Так бывает; очнешься и видишь, скажем, будто сидишь в нарядном купе второго класса, вместе с неизвестной изящной четой, – а на самом деле это – пробуждение мнимое, это только следующий слой сна, словно поднимаешься со слоя на слой и все не можешь достигнуть поверхности, вынырнуть в явь. Очарованная мысль принимает, однако, новый слой сновидения за свободную действительность: веря в нее, переходишь, не дыша, какую-то площадь перед вокзалом и почти ничего не видишь, потому что ночная темнота расплывается от дождя, и хочешь поскорее попасть в призрачную гостиницу напротив, чтобы умыться, переменить манжеты и тогда уже пойти бродить по каким-то огнистым улицам. Но что-то случается, мелочь, нелепый казус, – и действительность теряет вдруг вкус действительности; мысль обманулась, ты еще спишь; бессвязная дремота глушит сознание; и вдруг опять прояснение: смутный золотистый свет и номер в гостинице, название которой «Видзо» – написал тебе на листке знакомый лавочник, побывавший в столице. И все-таки, – кто ее знает, явь ли это. Окончательная явь, или только новый обманчивый слой?

Франц, еще лежа навзничь, близорукими, мучительно сощуренными глазами посмотрел на дымчатый потолок и потом в сторону – на сияющий туман окна. И чтобы высвободиться из этой золотистой смутности, еще так напоминавшей сновидение, – он потянулся к ночному столику, нащупывая очки.

И только прикоснувшись к ним, вернее, не к ним, а к бумажке, в которую они были завернуты, Франц вспомнил ту мелочь, тот нелепый казус... Войдя вчера в номер, осмотревшись, распахнув окно, за которым, однако, он увидел, вместо воображаемых огней, только темный двор и темное шумящее дерево, он содрал грязный, томивший шею воротник и, спеша, принялся мыть лицо. Очки он положил рядом с тазом, на доску умывальника, с краю. Умывшись, он поднял таз, чтобы вылить его в ведро, и столкнул очки на пол. Одновременно он неловко шагнул в сторону, держа

перед собой тяжелый, бушующий таз, и под каблуком зловеще хрустнуло.

Восстановив все это в уме, Франц поморщился. Что ж, надо отдать очки в починку; стекло, да и то треснувшее, осталось только в одной окружности. Мысленно он уже вышел из дому и бродил в поисках нужного магазина. Сперва – магазин, потом важное, страшноватое посещение. И вспомнив, как мать настаивала, чтобы этот визит он сделал в первое же утро по приезде («...это будет как раз такой день, когда делового человека можно застать...»), Франц вспомнил и то, что нынче – воскресенье.

Он цокнул языком и замер. Его охватило паническое чувство: без очков он все равно, что слепой, а нужно пуститься в опаснейший путь, через незнакомый город. Он вообразил хищные призраки автомобилей, которые вчера, на месте погрохатывая, теснились у вокзала, когда он, еще зрячий, но отуманенный сырой ночью, переходил площадь к гостинице. Так он и лег, не прогулявшись, не познакомившись со столицей в самую пору ее ночного сверкающего роения.

Но просидеть весь день в номере, среди смутных, враждебных предметов, без дел дожидаясь понедельника, когда какой-нибудь магазин с вывеской в виде огромного синего пенсне наконец откроется, – это было немыслимо. Франц откинул перину и босиком, осторожно прошлепал к окну. День был голубой, нежный, на диво солнечный; слева напознала бархатистая тень, и невозможно было понять, где кончается тень и где начинается расплывчато-оранжеватая листва дерева, заполнявшего двор. И было тихо-тихо, будто в осенней, погожей деревенской глуши.

Казалось теперь, что в комнате душная шумиха: раздраженный гул человеческих мыслей, гром отодвигаемого стула, под которым давно прячется от близоруких глаз необходимый ботинок, плеск воды, звон мелких монет, сдуру выпавших из кармана увертливого жилета; тяжелый, неохотный шорох чемодана, проехавшегося по полу в дальний угол, где уж не будет опасности опять об него споткнуться, – и казалось так шумно в комнате именно по сравнению с той солнечной, поразительной тишиной, хранимой, как дорогое вино, в холодной глубине двора.

Наконец Франц преодолел все туманы, высмотрел шляпу, шарахнулся от зеркала, в которое чуть было не вошел, и шагнул к двери. Только его лицо так и осталось не одетым. Осторожно сойдя вниз, он швейцару показал

адрес на бесценной визитной карточке, и тот объяснил ему, в какой сесть автобус и где его ждать.

Он вышел на улицу и сразу с головой погрузился в струящееся сияние. Очертаний не было; как снятое с вешалки легкое женское платье, город сиял, переливался, падал чудесными складками, но не держался ни на чем, а повисал, ослабевший, словно бесплотный, в голубом сентябрьском воздухе. За ослепительной пустыней площади, по которой изредка с криком, новым, столичным, промахивал автомобиль, млели розоватые громады, и вдруг солнечный зайчик, блеск стекла, мучительно вонзался в зрачок.

Франц дошел до угла, отыскал, щурясь, красный указатель остановки, неясный и зыбкий, как столб купальни, когда ныряешь под сваи, и сразу тяжелым, желтым миражем надвинулся автобус. Франц, наступив на чью-то мгновенно растаявшую ногу, схватился за поручень, и голос – очевидно кондукторский – гаркнул ему в ухо: «наверх!» Впервые ему приходилось карабкаться по эдакой кружащейся лесенке, – в родном городке ходил только трамвай, – и, когда автобус рванул, он едва не потерял равновесия, увидел на мгновение асфальт, поднявшийся серебристой стеной, удержался за чье-то плечо и, следуя силе какого-то неумолимого поворота, – при котором, казалось, автобус весь накренился, – взмыл через последние ступеньки и оказался наверху. Он с размаху сел на скамейку и в беспомощном негодовании стал озираться. Он плыл высоко-высоко над городом. Внизу, по улице, как медузы, скользили люди, среди внезапно замершего автомобильного студня, – потом все это опять двигалось, и смутно-синие дома по одной стороне, солнечно-неясные – по другой текли мимо, как облака, незаметно переходящие в нежное небо. Такой представилась Францу столица, – призрачно-окрашенной, расплывчатой, словно бескостной, ничуть не похожей на его грубую провинциальную мечту.

Чистый воздух свистел в уши, райскими голосами перекликались гудки, внезапно пахнуло прелой листвой... и одна смутноватая ветка чуть не задела Франца. Погодя, он спросил у кондуктора, где ему вылезать; оказалось, что еще не скоро. Он принялся считать остановки, чтобы лишний раз не спрашивать, – и мучительно старался различить улицы, по которым проезжал. Быстрота, воздушность, запах осени, головокружительная зеркальность того, что плыло мимо, – все сливалось в

ощущение бесплотности, которое было так необыкновенно, что Франц нарочно дергал шеей, чтобы чувствовать твердую головку запонки, казавшуюся ему единственным доказательством его бытия.

Наконец он доехал; замирая, сполз вниз по лесенке и вступил на тротуар. Кто-то в уплывающих небесах, – быть может незамеченный сосед – крикнул ему: «Направо! Первый поворот напра...», Франц вздрогнул и, дойдя до угла, повернул. Тишина, и безлюдность, и солнечная зыбкость... Он терялся, таял в этой смутности, а главное, никак не мог найти номера на домах. Он вспотел и ослаб. Наконец, завидя туманного прохожего, он подошел к нему, спросил, где пятый номер. Прохожий стоял совсем близко, и так странно падала лиственная тень на его лицо, и так все было смутно, что Францу вдруг показалось, что человек – тот самый, от которого он вчера бежал. Почти наверное можно сказать, что это была лишь световая пятнистость, прихоть теней, – однако Францу стало так гадко, что он предпочел отвести глаза. «Прямо напротив, – где ограда», – бодро сказал человек и пошел своей дорогой.

Франц переправился через улицу, нашел калитку, нащупал кнопку звонка и нажал на нее. Калитка издала странный жужжащий звук. Франц подождал немного и позвонил опять. Калитка опять зажужжала. Никто не приходил открывать. За калиткой был зеленоватый туман сада, и в нем плавал дом, как неясное отражение в воде. Франц попробовал сам открыть калитку, но она заартачилась. Кусая губы, он позвонил снова и долго держал палец на кнопке. Однообразное жужжание. Вдруг сообразив, в чем дело, он боком уперся в калитку, пока звонил, и она так сердито открылась, что он чуть не упал. Кто-то окликнул его: «Вам к кому?» Он повернулся на голос и увидел женщину в светлом платье, стоявшую перед ним на гравистой тропе, ведущей к дому.

– Его еще нет, – неторопливо сказал голос, когда Франц ответил.

Он прищурился, увидел белое лицо, темные гладкие волосы.

– Мне очень важно, – сказал Франц. – Я вот приехал... Я прихожусь ему родственником... – Он почему-то вытащил бумажник и стал рыться в нем, отыскивая пресловутую карточку. Дама на него пристально глядела, стараясь понять, где это она уже видела его. У него были прозрачные от солнца уши и невинный лоб в мельчайших капельках пота у самых корней

волос. Внезапно воспоминание, как фокусник, надело на это склоненное лицо очки и сразу опять их сняло. Дама усмехнулась. Одновременно Франц, найдя карточку, поднял голову.

– Вот, – сказал он, – мне было велено сюда явиться. Я думал, что так как сегодня воскресенье – Она посмотрела на карточку и опять усмехнулась: – Мой муж поехал играть в теннис. Он вернется к обеду, а ведь мы уже встречались...

– Виноват? – сказал Франц и напряг зрение. Позже, вспоминая эту встречу, марево сада, хрустящий гравий, солнечно-пестрое платье, он часто недоумевал – как это он сразу не узнал ее? Правда, он был беспомощно близорук, правда, он ее раньше не видел без шляпы и вероятно не ожидал, что у нее такая голова – пробор посерединке и сзади шиньон (единственное, кстати сказать, в чем Марта не следовала моде), – все же не так-то просто было объяснить, как это он мог долго-долго дураком стоять перед ней и не понимать, к чему она клонит. Ему казалось потом, что в то утро он попал в смутный и неповторимый мир, существовавший один короткий воскресный день, мир, где все было нежно и невесомо, лучисто и неустойчиво. В этом сне могло случиться все, что угодно: так что и впрямь оказывается, что Франц в то утро, в отельной постели, не проснулся действительно, а только перешел в новую полосу сна. Марта в бесплотном сиянии его близорукости несколько не была похожа на вчерашнюю даму, которая позевывала, как тигрица. Зато мадоннообразное в ее облике, примеченное им вчера в полудремоте и снова утраченное, – теперь проявилось вполне, как будто и было ее сущностью, ее душой, которая теперь расцвела перед ним без примеси, без оболочки. Он не мог бы в точности сказать, – нравится ли ему эта туманная дама: близорукость целомудренна. Но, кроме всего, она оказалась женой человека, от которого зависела вся его дальнейшая судьба; женой человека, из которого ему было сказано выжать все, что только возможно, – и тем самым она стала выше, отдаленнее, недоступнее, даром, что он познакомился с ней. Следуя за Мартой по дорожке к дому, он слегка размахивал руками и, второпях, мучась желанием поскорее расположить ее к себе, говорил о том, какое это неожиданное, удивительное, небывалое и очень, очень приятное совпадение.

Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:

[Перейти](#)